

КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ПРОЗЕ Ф. КРЮКОВА

Гао Хань

аспирант, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
578382104@qq.com

THE CONCEPT OF LIFE AND DEATH IN F. KRYUKOV'S PROSE

Gao Han

Summary: This article examines the literary heritage of F. Kryukov and the concept of life and death in his prose. The significance of his stories and stories is difficult to assess only within the framework of the theme of the family and village way of life of the Don Cossacks. The Cossack mentality with its constants, corrections, paradoxes is a constant subject of depiction in Kryukov's prose, but the universals of human existence are focused in it. The content of his works goes far beyond ethnic prose. Plots, characters, landscapes, Cossack customs, dialogues, lyrical inserts are artistic tools through which the writer expressed his understanding of the meanings of life and death. At the same time, unlike the philosophers popular among the Russian creative intelligentsia of the 1900–1910s, he was not attracted by ideological abstractions, he turned to the recognizable and everyday specifics of an ordinary person.

Keywords: F. Kryukov, Don Cossacks, the concept of life and death, mentality.

Аннотация: В данной статье рассматривается литературное наследие Ф. Крюкова и концепция жизни и смерти в его прозе. Значимость его рассказов и повестей сложно оценить лишь в рамках темы семейного и станичного уклада донских казаков. Казачий менталитет с его константами, коррективами, парадоксами – постоянный предмет изображения в прозе Крюкова, но в нем сфокусированы универсалии человеческого бытия. Содержание его произведений выходит далеко за рамки этнической прозы. Сюжеты, персонажи, пейзажи, казачьи обычаи, диалоги, лирические вставки – художественный инструментарий, через который писатель выражал свое понимание смыслов жизни и смерти. При этом, в отличие от философов, популярных среди русской творческой интеллигенции 1900–1910-х годов, его не привлекали мировоззренческие абстракции, он обращался к узнаваемой и повседневной конкретике рядового человека.

Ключевые слова: Ф. Крюков, донские казаки, концепция жизни и смерти, менталитет.

Судя по публичным выступлениям и статьям Крюкова, он был социально активным, исповедовавшим идеалы справедливости, страстно-патетичным в отстаивании прав человека. В 1906 г. он был избран депутатом Первой Государственной думы от области Войска Донского и с трибуны подверг критике отношение государства к казачьему сословию, в том числе наделение казачества антинародными карательными функциями и намеренное сохранение невежества казаков, ограничение их доступа к образованию. В 1906 г. и 1907 г. Крюков стал заметным деятелем Партии народных социалистов. Как видно из его письма к А.И. Тинякову от 8 августа 1909 г., он относил себя к народникам.

Общественную инициативность Крюкова мы объясняем и заботой о жизнестойкости государства, и любовью к ближнему – особенно в условиях внешнего давления на личность, ограничения ее свободы. Постоянная тема статей, рассказов, повестей Крюкова – контраст между витальными силами природного человека, каковым был станичник, и внешними условиями его существования. Причем в реалистическом изображении казаков писатель не ограничился темой предначертанной им службы, но и показал губительные конфликты между их страстями и разумом, экзистенциальной волей и семейными ограничениями, душевной широтой и меркантильностью, желанием и роковым случаем, ответственностью за близких и эгоцентризмом и т.п. В описании различных форм существования персонажей Крюков,

во-первых, обстоятелен, внимателен к вещным, психологическим деталям и, во-вторых, не идеализировал станичников, акцентировал внимание на неоднозначности и даже противоречивости человеческой природы. Казаки и казачки в интерпретации Крюкова, как правило, максималисты, что свидетельствует об их стремлении к полноте жизни, но и приводит к неукротимости темных страстей, из-за чего ломаются судьбы, разрушаются семьи, гибнут люди. Особая тема его прозы – личный выбор между жизнью и смертью, смерть по принуждению.

Для персонажей Крюкова характерна их наполненность неумемной жизненной силой. Это убедительно иллюстрируется отношением автора к персонажу рассказа «Гулебщики» (1892). В центре внимания – выдающиеся физические качества героя, его статья: «Багор заливался соловьем: богачейший – сильный, гибкий и высокий» [1, с. 60] и т.п. В рамках рассказа «Зыбь» (1909) выведен аналогичный психологический тип: «Нишкишка Терпуг, песенник, удалой боец и забубенная голова. Улица и песни – его радость. Его стихия – кулачный бой. Тут он – артист, щеголь, герой, подкупающий даже противников смелостью мгновенного натиска, ловкостью удара, красотой и благородством приемов» [5, с. 215].

Жизнелюбие и широта натуры героев, во многом сформированные донским раздольем, степными просторами, являются неотъемлемыми чертами живущих здесь людей. Жажда жизни, неодолимое стремление

к счастью проступает в отношениях Ульяны и Терпуга (рассказ «Зыбь»). Хотя чувственные порывы казаков и казачек из рассказов Крюкова порой выходят за нравственные нормы, мы не видим авторского осуждения персонажей. Физиологические детали не смущают читателя, а лишь подчеркивают предельную искренность героев, глубину и подлинность их чувств и достоверность изложения; например: «Когда чуть слышный стон или вздох томительного счастья, радостной беззащитности, покорности коснулся его слуха, он прижался долгим поцелуем к ее трепещущим, влажно-горячим губам» [5, с. 224]. Пульсирующая жизнь живой природы создает значимый акцент на неудержимой чувственности человеческой природы: «Упрямо-неустанно букали водяные бычки: бу-у... бу-у... бу-у... Заливисто хохотали лягушки. Звонко сверлили воздух короткими коленцами какие-то таинственные, маленькие водяные жители» [5, с. 221]. Таким образом автор показывает целостную и подлинную картину жизни.

В рассказе «Из дневника учителя Васюхина (Картинки станичной жизни)» (1903) Алексей и Катя Медведева – персонажи с такой же жизненной силой. Для главного героя, вернувшегося из Петербурга, все в казачьей станице ново и привлекательно (в том числе казачка): «Она теребила меня, смеялась, пела, целовала и кусала мои руки» [2, с. 48]. Накануне свадьбы Катя сбегает от богатого и нелюбимого жениха, восстав против воли отца, чье слово – непререкаемый закон в казачьих кругах. Любовь выявляет красоту бытия: «Кресты церкви ярко горели. Снег хрустел под ногами. Светло и прозрачно было кругом. Какая кроткая, невыразимая красота на всем... Мы подошли к училищу. Катя оглянулась кругом, – никого нет, – схватила меня руками за голову и поцеловала крепко и горячо» [2, с. 46]. Счастливые времена недолговечны, герой смертельно болен, но в его прощании с жизнью звучала легкость бытия: «Лучше и интереснее жизни ничего нет на свете, какая бы она ни была – скорбная ли или веселая, трудная ли или привольная... И как хочется мне теперь жить, быть здоровым, работать, учить и самому учиться» [2, с. 49].

Но наряду с такими произведениями в рассказах Крюкова говорится и о трагизме бытия, жизнелюбию противопоставлены чрезвычайные события, состояния, унижающие достоинство человека: страх расплаты за грехи плоти, самоубийство, арест, тревога, страдания. Таким образом, онтологическая суть крюковских персонажей проявляется и в неразрешимых ситуациях, которые предстоит пережить и переосмыслить.

Согласно экзистенциалистскому взгляду на жизнь человека сопровождает смерть (или ощущение смерти), подобная тени. Хайдеггер предположил, что смерть – «экзистенциальный феномен», она диктует «экзистенциальную ориентировку на всегда свое присутствие» [8, с. 240]. Но она же – источник понимания смысла жизни. Согласно

экзистенциалистскому осмыслению бытия человеку необходимо встретиться со смертью.

Смерть, как и ее ожидание, – частые темы художественных текстов. Особую остроту повествованию придает изображение материнской тревоги за жизнь сына. Примером служит рассказ «Душа одна» (1915), в котором авторское внимание сфокусировано на переживаниях матери-казачки за призванного на военную службу сына. Ее скорбный плач раздается по степи, по станице расползаются зловещие слухи, она не пропускала вернувшихся служивых, «чтобы не расспросить, какого полка» [3, с. 406], она «становилась в темный уголок перед темным образом Богородицы Аксайской и в безмолвных слезах изливала Царице Небесной безмолвную, горькую жалобу свою материнскую» [3, с. 405]. Рассказ заканчивается мотивом вечного ожидания вестей о сыне. Растянутые во времени страхи, пространственная дистанция, переплетение противоположных эмоций (от надежды до отчаяния) формируют в сознании матери вторую, индивидуальную, реальность, в которой время и расстояние сжимаются и она тактильно ощущает близость сына: «каждую ночь снится он ей, хворенький, ушибленный, ищущий скорбными глазами ее, мать родимую, и крепко прижимает она его к трепещущему сердцу, и всю силу порыва материнского хочет перелить в него» [3, с. 409]. Экзистенциальное содержание времени и пространства преодолевают истинный, наполненный трагизмом, ход событий.

Еще одним итогом размышлений Крюкова о смерти стал рассказ «Казачка» (1896), сюжет которого завершается самоубийством. Героиня – жалмерка, ее муж несет службу в городе, она ему изменяет. Подобная ситуация встречается и в других рассказах Крюкова, обращается к ней и А. Серафимович – автор рассказов о донских казаках. Сложная история замужней казачки транслируется через восприятие студента Ермакова, глубоко ей сопереживающего. Дружеские отношения юноши и молодой казачки доверительны, но, как показывает Крюков, в человеке в силу разных причин есть пределы открытости: восхищенный красотой героини юноша идеализирует ее и не допускает измены мужу, она не решается рассказать ему правду. В итоге женщина добровольно уходит из жизни, а юноше открывается вся необратимость совершенного ею, непоправимый и неестественный разрыв между живой жизнью и небытием.

Иную интерпретацию смерти Крюков развивает в упомянутых выше «Гулебщиках». В отличие от рассказа «Душа одна», смерть в нем представлена как совершившийся факт и, по сути, как закономерный переход молодого казака из времени в вечность, что отличает содержание рассказа от высказанного Крюковым в «Казачке». Натуралистически изображая гибель казака от калмыцкой пики, подробно описывая распространившуюся к

темени и плечу боль, струившуюся изо рта теплую кровь, зеленые и желтые круги в глазах, мародерство калмыков, Крюков противопоставил случившееся во времени поражение героя, его унижительное и беспомощное состояние тому, что открыла ему вечность: «И боль, так невыносимо давившая темя, вдруг отлегла. Ее сменил покой приятный, легкий покой. Ничего не слышал Филипп, ничего не чувствовал, кроме этого глубокого сладостного покоя и тишины» [1, с. 73]. Описывая ночное небо над голым (как и при рождении) телом отошедшего в иной мир человека, автор представляет читателю смерть как великую тайну перехода в вечное вселенское бытие.

Крюков, по всей видимости, определил для себя, в чем заключается глубокий онтологический смысл смерти. Результат его размышлений может показаться парадоксальным: «Есть неожиданная и своеобразная прелесть в этом сочетании неистребимой жизненной энергии и близкого веяния смерти» [4, с. 265] («Цветок-татарник», 1919). В его понимании смерть в любом своем проявлении дает людям возможность понять ценность и неизбежную конечность жизни. Однако массовые смерти в период Первой мировой и Гражданской войн с их «безмолвными обугленными руинами хуторов и станиц, горестными братскими могилами и одинокими холмиками под новыми крестами, в траве белеющими костями...» [4, с. 233] («После красных гостей», 1919) не вполне укладывались в процитированную выше мысль о «своеобразной прелесть» сочетания витальных и моральных смыслов бытия. Взрывы от снарядов на родине Крюкова диссонируют с теплым осенним вечером, звуками гармонии и кажутся «нелепейшим недоразумением и бессмыслицей» [4, с. 249]. В его публицистике повторяется вопрос: «Ну, когда она кончится, эта погибель?» [4, с. 251] («Усть-Медведицкий боевой участок», 1919). Смерти на войне фатальны для жертв и осмысленны для победителей, но и те, и другие утрачивают свою экзистенциальную ценность: в борьбе старой и новой идеологии люди оказываются неизбежно вовлеченными в один из лагерей, втянутыми в «огромный маховик истории» [4, с. 249].

Массовые смерти, кровопролития, которыми отмечена российская реальность 1900-х–1910-х годов, объяснялись либо с точки зрения отвлеченного разума, либо библейской жертвой, либо политическими и социальными обстоятельствами. Как пишет Н.М. Солнцева: «Авторитетен круг мыслителей, морально мотивировавших войны, осмыслявших их как естественное цивилизационное явление. К XX в. идея уместности войны лежала на поверхности» [7, с. 154]. Высказывались мысли «об очистительной и искупительной силе Первой мировой войны» [7, с. 154], например о войне – гигиене цивилизаций (Т. Маринетти. «Программа футуристической политики», 1913»; В. Маяковский. «Война и мир», 1915–1916) и благе (Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра», 1885), соединении религиозной и исторической мистерий, когда смерть в

боях Первой мировой войне понималась как подражание Иисусу Христу (В. Розанов. «Христово Воскресенье», 1915), Крюков искал ответы на вопрос о смысле массовых жертв не в религии и не в философии.

В произведениях военного периода видно, как Крюков искал разумное обоснование многочисленным жертвам. В очерке «Около войны» (1914) он поставил вопрос о том, что позволяет воюющим людям пережить лишения, «какими упованиями зажигается их сердце» [3, с. 280] и ради чего они идут на смерть. Причем Крюков отмечал приоритет казаков: большинство из них не умирали за идею – общественную ли, политическую ли; в понимании казаков смерть не трактовалась и как экзистенциальное поражение. Кроме того, Крюков испытывал несомненное сострадание к бойцам. В этой связи показательными являются эпизоды очерка «Усть-Медведицкий боевой участок»: обстрел пленных казаков располагавшимися на противоположном берегу Дона красными частями, или упоминание о гибели молодых бойцов Донской армии, или угасание раненых на больничных койках заштатной больницы. Об этом же свидетельствуют строки: «Мрет беженская детвора от болезней. В знойном бреду лежат в землянках и кибитках взрослые – некуда приклонить голову» [3, с. 272] («Здесь и там», 1919). Автор представлял войну как личную и национальную катастрофу. Одновременно он писал о лихости, отчаянной храбрости молодых казаков, их пренебрежительном отношении к опасности, подчеркивал гордость старшего поколения за отважных сынов Дона. Приведем цитату: «Люди простые и мужественные, люди, в которых сохранилась здоровая казачья кровь, знают ныне только одно слово вперед!» [3, с. 290] («Единое на потребу», 1919). Судя по прозе Крюкова, можно утверждать, что самобытность донского казака исключает страх смерти, казачья ментальность предельно минимизирует трагический пафос ситуации.

Соотношение таких противоположностей, как трагизм смерти и естественный, родовой витализм казаков, в определенной степени можно соотнести с мыслями А. Шопенгауэра: во-первых, «вся природа, включая человека, есть выражение ненасытной жажды жизни, но в самой жизни человеку суждено претерпевать страдания» [6, с. 200]; во-вторых, если земная жизнь и воля к жизни конечны, то ценность смерти – в переходе к бесконечности существования, бессмертной воле; в третьих, смерть – явление индивидуальное, тогда как род не знает смерти. Однако идея жизни и смерти, составившая аксиологию Шопенгауэра, лишь отчасти, как было отмечено выше, проясняет смысл противоречий основных бытийных феноменов в существовании индивидуума. Смерть для большинства персонажей Крюкова не является желаемым освобождением от жизни и настоящей целью существования, а жизнь не ничтожна, что опять же характеризует мен-

тальность казаков. В «Здесь и там» (1919) их бегство от красных, исход из родных станиц – с продвигающимися по широкой степи бесконечными обозами, скотом, домочадцами – сравнивается с библейским переселением, таким же трагическим, predetermined и исторически знаковым, но при этом авторская мысль сфокусирована на коренных свойствах казаков: скорбь превозмогалась «здоровым инстинктом самосохранения», верой в одоление беды, надеждой на пропитание и кров, «жизненной упругостью» [4, с. 256].

Суммируя сказанное, можно утверждать, что в рассказах и очерках Крюкова гибель отдельной личности – экзистенциальная трагедия, не умаляющая, тем не менее, полноты и богатства человеческой жизни. При описании массовых смертей на первый план повествования выходит единство фатальности и исторической обусловленности смерти, что не отменяет ее трагическую бессмысленность. Итак, авторскую позицию формирует осознание несомненной жизненной силы казаков вкупе с традиционным, ментально обусловленным отношением к смерти.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крюков Ф. Д. Гулебщики // Исторический вестник. – 1892. – С. 53–73.
2. Крюков Ф. Д. Картинки школьной жизни старой России. К источнику исцеления. Православный мир старой России глазами русского писателя. / Предисл. и сост. А. Г. Макарова. – М.: АИРО-XXI. – 2009. – 432 с.
3. Крюков Ф. Д. На Германской войне. На фронте и в тылу / Предисл. и сост. А. Г. Макарова. – М.: АИРО-XXI. – 2013. – 548 с.
4. Крюков Ф. Д. Обвал. Смута 1917 года глазами русского писателя / Предисл. и сост. А. Г. Макарова. – М.: АИРО-XXI. – 2009. – 368 с.
5. Крюков Ф. Д. Эпоха Столыпина. Революция 1905 года в России и на Дону / Предисл. и сост. А. Г. Макарова. – М.: АИРО-XXI, – 2012. – 368 с.
6. Самусёв И. С. «Воля к жизни» Артура Шопенгауэра, или пролегомены «Воли к власти» Фридриха Ницше // сборник тезисов докладов 56-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов. – Минск: БГУИР, – 2020. – С. 200-201.
7. Солнцева Н. М. О вкусе поэтов к крови // Stephanos. – 2017. – №6 (29). – С. 153–162.
8. Хайдеггер М. Бытие и время / Перевод: В. В. Бибихина. – М.: Изд. фирма «Ad Marginem», – 1997. – 451 с.

© Гао Хань (578382104@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова